

Писатель Василий Золотов к 250-летию Петропавловска заканчивает работу над историческим романом «Берег Крашенинникова», в котором исследует камчатский период жизни известного исследователя нашего полуострова, ревностного подвизника русской науки Степана Петровича Крашенинникова, давшего в своем знаменитом исследовании «Описание земли Камчатки» разносторонний анализ уклада жизни людей далекой земли. И в романе вровень с личностью Степана Крашенинникова предстают фигуры местных жителей — коряков, ительменов, а также казаков, многие из которых душой срослись с Камчаткой, немало сделали для нее своими мастеровыми руками.

Сегодня мы предлагаем читателю отрывок из романа «Берег Крашенинникова».

Однажды Степан Крашенинников шел по берегу Быстрой, когда увидел — на траве утерянны кем-то кресло, кiset с табаком, замызганный носовой платок и опечатанное сургучом письмо. Где же хозяин? Наверху гудит кабак. Там, наверное. Скорей всего, ходит тот человек у приказчика в доставщиках почты. Спьяну, вероятно, и забыл свои вещицы.

Снесу письмо в приказную избу, решил Степан. Кресло, табак и носовой платок пусть останутся, сгодятся хозяину, а лезенное письмо оставлять без оглядки нежего.

На двери приказной избы замок. Ладно, зайдем после. Дома Степана разобрало неудержимое любопытство — что за бумага таится под сургучом? Может, что-нибудь касаемо экспедиции? Не одну слезинку отослал он, просил подмоги в постройке светлиц для академиков. Возьму грех на душу, открою конверт, прочту цидулку и обратно запечатаю. Кто не грешил на белом свете! Вскрыл дрожащей рукой конверт и остолебен: «Сим повелеваю объявить строжайшее разыскание казака Пронской укрепы Тихомира Самохина, виновного в убийстве на льду реки Прони сотника Мирона Колесова... Март 1738 года. Воевода Зборовский».

Хорош гостинец! Да как же это, Тихомирушка, по твою голову-то! Ведь вы сходились в кулачном бою на масленицу полюбовно. Зачем же на тебя петлю-то вить?

Жалость и возмущение овладела Степаном, закричал он долгим стоном, не стал обратно запечатывать письмо, передумал нести в приказную избу, рискуя, припрятал у себя под постелью. «Огражу служивого от навета, не дам тебе, Тихомирушка, на поругание. Коль ты меня в свой час вытиснул за волосы из пучины, так и я тебя вытисну».

Умно легли мысли, но через минуту Степан охватил страх: по всему острогу станут догадываться, кто нашел засургученное письмо. Не мудрено угодить и в кандалы. Впрочем, вряд ли казак объявит розыск бумаги. Ему же за халатность влетит, умолчит, спрячет концы в воду. Один только я повяжусь с тайной. Якутск успокоится, ищут, мол, казака, ну и пусть ищут... А там за давностью лет... Сколько зим, сколько весен уже пролетело.

Дни пошли своим чередом, но потеряли они прежний, привычный свой расклад. Указ о розыске Тихомира занозой засел в голову. С тревогой за судьбу друга просыпался Степан, с тревогой и засыпал. Исподволь давила на сердце розыскная бумага, особенно когда доводилось встречаться с Тихомиром. На краю беды стоит мужик. Ничего не подозревает его сердце впроголодь глаза, под железным громом ходит кудрявая в золотинку голова.

Степану хотелось по первопутку наведаться в Верхне-Камчатский острог. Откровенно говоря, он изрядно стосковался по Тихомиру, хотелось поглядеть с ним, посмотреть, как живет казак. Да и местность сама очень влекла. Острог, по рассказам старожилов, поставлен в самом благодатном уголке полуострова: река Камчатка здесь выгодно и широко расплеснулась по неоглядной плодородной равнине; от жестких студеных ветров долина защищена горами и стеной недалекой тайги, солнца сколько угодно. Слышал, переселенцы, что пришли с Лены, подняли новь, хорошо родится всякий овощ.

По дороге в Верхне-Камчатск Авай упротил Крашенинникова завернуть на часик — другой к охотнику Камаку. Степан уже не раз слышал о Камаке и согласился.

— Кум, что ли, тебе тот Камак? — пошутил Степан.

— Дочь его, Лылчих, мой невеста.

— На свадьбу позовешь? — В крашенинниговском уголке.

Охотник жил в юрте, а рядом, за березами, ставился не скучное зимовье, не захудалая избенка, а настоящий дом, уже подведенный под крышу.

Камак старательно конопатил жилье, забивал деревянной лопаточкой в пазы между бревен свисающий ключьями мох. Ныне в остожах не редкость — ительмены и коряки стали обстраиваться на русских ледах: ставят бревенчатые дома, бани.

В глазах Авая копилось нетерпение, Лылчих...

На лай собак из юрты выбежала девушка. Она! А мовет, не она?.. Сомневаясь, в нерешительности остановился он, сердце в груди — бух-бух! На Авая посматривала смуглая в легком русском шушуне, в красных бусах, покрытая платком в роспуск, с едва уловимой косинкой в глазах.

Незнакомый облик Лылчих поверг Авая в растерянность, он уперся в нее удивленным взглядом, немо раскрыв рот. Руки его, готовые для объяснений, нерешительно опустились.

Смущению Авая не было бы конца, не сплусить с лестницы к гостям Камак. Степан подошел к нему, заинтересовался.

— Кто же это хоронимо такую видную срубил?

— Тихомирка! — в избытке чувств охотно отозвался Камак. — Для меня рубил. Крестами поменялись, — лицо Камака преобразилось. Он заговорил быстрым бормотком, словно боялся, что не успеет выговориться. — Хороший казак Тихомирка. Топор и лопату ковал мне, а Лылчих и жене иголки дарил. Ты, Степанка, — молодец! Пойдем в дом, гостем будешь.

— Извиняй, дорогуша, я к Тихомиру тороплюсь. Давно не виделся. Как-нибудь вместе заглянем, — сказал и удивленно подумал: «Крестами поменялись! Ишь ты!».

Авай и Лылчих, преодолев отчужденность долгой разлуки, засмеялись, пошли под березки, к ключу, что шумел за углом. О чем они там говорили — один только быстрый ключ знает, Степан во всеслепом выражении лица Авая понял — каюр вернулся не без доброго слова.

— Через год сватов буду мало-мало засылать!

Всю дорогу до Верхне-Камчатского острога Авай заливался соловьем. И о чем только не пел он! О чьих-то глазах в пугливых ресницах, о смехе Лылчих, тихом и грустном, о зимнем ключе, о бегущих собаках.

Вокруг было студено, солнечно, широко.

Из-за тополиной гривы на левом берегу реки Камчатка резко выкрасился острог, четырехугольный, бревенчатый, отгороженный высоким палисадом. Стены — крепь неприступная. Ворота ставлены со стороны реки. Над воротами — ясашиный амбар.

Приватный казак, узнав Авая, отвалил засов, крепкие дубовые створки раскинулись.

— К Тихомиру? Эвон дом его, катайте напрямик.

Тихомир в это время, не предполагая о приезде гостей, ковал в кузнице капкан. Чтобы охотничья снасть наверняка удалась, он горячо, по-заговорушничьи шептал заклинания:

— Благослови, Егорий-стартотерпец, помоги железы имучие ковать. Станьте ловушки мои крепче гор каменных, вострее секиры булатной.

Гости застали его за этим таинственным нашептыванием. Он встретил их чумазый, лишь белки глаз посверкивали, курчава борода подпалена.

— Это что же, Тихомирушка, бесы, что ли, тебя пытали? — удивился Крашенинников.

— Приглашаю вас в мою «пытошную», интересно будет, — лукаво ухмыльнулся казак. Глаза буйно-голубые, как лен в цветении. — Вы только гляньте, что я тут натворил.

Тихомир стал показывать любопытные поделки из железа, подвел Крашенинникова к домнице, рассказал, как исхитрился добыть металл в рудных ямах, и про то, как нелегко было выковать зерна чистого железа из крицы, полной шлака. Степан от всей души похвалил казака. Довольный, Тихомир вздохнул:

— У нас одна утеха — в мастерстве. А к нему надо рвение иметь. В голове гнездится робкая мысляшка: быть может, нуки аспомнят о тебе. Возьмешь добрую саблю и видишь, какое диво сотворил мастер. Знак его на сабле...

Да что же мы стоим, — спохватился вдруг увлеченный коваль. — Прощу в дом.

Пока шли от кузницы, Тихомир знакомил с острожком.

— Вот это ясашиная изба. Тут и аманатов держат. А вот те постройки — два амбара для жира и юколы аманатов. Крест, что виднеется за крепостью, то — часовня, а поближе к башне — кабак с винокурней. Чуть правее — копильня для рыбы.

Степан гляделся в облик русского гнезда: строения добротные, лес тополевый, толстый. По всему видно — ост-

роже, особенно обживался: сопили пилю, стучали топоры, дымилась смола.

— Рыбу-то в реке иль в озерах берете? — заинтересовался Степан.

— Вестимо, в реке, да мало того, прикупаем еще с Пенжинского и Бобрового морей, а соль вывариваем за четыре-ста верст, а устье, за Нижне-Камчатским острогом. Оно, браток, солонот от этой соли. Так-то.

— Гляжу, крепка в тебе хазяйская жилка. Поди, разучил-ся тесак держать. Числишься ли в казаках-то? — улыбнулся Степан.

— Числюсь. Да вот по нужде назначили мастеровым. Я и рад. Кую, плещу жель, дома строю. Надоело калечить, унижать людей. Плохо, когда душа теряет милосердие. Было в моей жизни всякое, отчаянные воров везал, в пытошные избы таскал, а ныне руки к дереву, к земле просятся, а не к тесак и плети.

«Живи без опаски, Тихомирушка, прикрой я тебя. Бог один знает», — подумал Крашенинников.

До Степана донесся гомон из кабака.

«Степан из любопытства не прочь был посмотреть, как развлекаются казаки. Авай же тем временем пошел кормить собак. Тихомир ввел гостей в цареву кружалу. Сизый над слоисто висел под потолком. Заняли свободный стол в полутемном углу. Степан осмотрелся.

Василий Золотов

ЛЫЛЧИХ

...Шумят, пьют лихари-казак. Лица раскраснелись, серебряные серьги поблескивают в ушах. Кто-то неторопливо, аралесск затянул песню:

Ты азайди-кася, азойди, туча грозная...

За тенорами обвалом грома ухнули густые пролитые басы:

Эх, да распрелый-кася, распрелый, сильный дождичек...

В конце слюда задрожала. Кабак дышал гневом, обидами, яростью, проклятьем. Рыжебородый великан, положив широкие клешни рук на стол, зажал в горсти стакан зеленого стекла, кроя шум гремучим железным голосом:

— Ты, целовальник, думаешь, что серебра у нас не припасено? Ежели што, так и кресты сышем... Неси сулейку!

Другой казак, тыча пальцем рыжебородому в грудь, твердил:

— Делай все, как следует, только душу не продавай ни за сладкую еду, ни за хмельное вино, ни за серебро! Душу блюди!

По щекам рыжебородого, теряясь в усах, скатились две крупные слезы.

— Ты чего это, братан? — положил руку на его плечо сосед.

— Да я уже не плачу. Душа сама заплакала, — и слезы снова брызнули из его глаз.

— Заньне у нас казачье, а жите соbachе.

— Во, во! Казаки с бедою, как рыба с водою.

— И все-то у нас ветром подбито и морозом подшито.

Кто-то рядом, стуча кулаком в грудь, каялся:

— Варнак я. Тать не тать, а на ту же стать.

Тихомир склонился к Крашенинникову:

— Что и говорить, нет большого дела у казаков. Обленились. Возьми топор, лемех, сошки. Пока в деле — блестя, солнышко отражают, выбросили за ненадобностью — ржа враз источит. Так и человек, — Тихомир вздохнул. — Силы у нас, в Расеи столько, Степанушка, что в чистом поле травы. Жги ее, рви с корнем, коси косой — падет, а слянешься — опять буינו пошла. Куда силушку эту девать — ума не приложу.

Степан понимал, что Тихомир не совсем прав. Сам-то он находил, куда приложить силушку. Ишь ты, железю плющит. Руда тут, конечно, не такая уж знатная — небольшие вкрапления осадочных пород, и только, но при великой нужде, как говорится, и с драной ощи шерсти клоки. Металл сдвигает жизнь северных людшек из дикости и нищеты к преуспеваю. Казану надо не продуванивать а кабаках наследство, а всячески умножать его. Плата за все дороговата. Память Степана жгла аючная тропка от Амги до Охотска — вся она выстлана костями. Забудешь об этом, совесть замучает, прослышешь отступником.

Степан и Тихомир переглянулись и в безмолвном согласии покинули кабак. Тугая, набухшая дверь со стоном захлопнулась за ними.

«Не успели Тихомир и Степан пройти и даухсот шагов, как перед ними вырос дом глагольный. Стоял он наособь. Тесовые сени, солнечное крыльцо. Окна забраны слюдой. Дом Тихомира выступал на радость людям пестрой яр-

маркой причелин, подзоров, баласин, резных полотенец. Степан остановился, не в силах отвести глаз от новины. Китеж-град новоявленный! Толстые бревна столь ровно отесаны, что и конопатить, видно, почти не потребовалось. Глазки сучков так и играли на них между трещинками, а по углам бревна сопрягались столь точно, будто лите.

— Преуспел, что и говорить, красовито, саморучно срубил дом-то, — похлопал по плечу Степан казака.

Похвала обрадовала Тихомира, он астряхнул головой — кудри вразлет, в глазах блеск.

— Пристанище души моей, дорогой Степушка! Тут мне каждый камень — дружок, а каждая веточка — сестрица!

У Тихомира голубые — голубые весенние глаза. «Не ему достались! — шутили о его глазах казаки. — Такими глазами девичьи сердца можно простреливать, как стрелой, а он все на дом свой глядит да наличники ими ласкает...».

Крашенинников обошел дом кругом, пристально, с дотошностью осмотрел, взгляд его был полон восхищения: перед ним не просто изба, а изба-невеста, изба — солнце. Жаль только, что, кроме баньки и кузницы, нет никаких надворных построек.

— Надо бы Камаку дом отделить, — в задумчивости проговорил Тихомир.

— Такой же, как твой будет?

— Может, и лучше...

Вернулся Тихомир в избу, когда уже стемнело, сразу же вскрикнул он.

— А вот то. Я тебя еще не так огрелю — шапка на две сажени взвояется!

Закроет Тихомир глаза, а Лылчих все одно не избыть из мыслей — смеется, глаза-стая... Он не знал, как отделиться, как избавиться от завороживающего, точно наваждение, преследующего взгляда. Неужто до конца дней своих не даст ему покоя этот, в самую душу проникающий взгляд? Ах ты, девка толстолая, что мне с тобой делать? А если тебя все же выдадут за кого-то замуж, скажем, за того же Авая, как тогда мне быть?..

Там, где мужикина зачастую жертувет головой, женщина откупается ценой чести. Давным-давно ведомо Тихомиру о любви — напасти, о чужой жене, которую любить грех, о душе, которая не смиряется и все равно и ждет, и любит, и твердит вещице слова: «Ветры, буйные Вихори, сведите меня с нею, душа с душою...». Он верил, что любовь можно «насылать» заговорным словом и приворотным зельем, как злую напасть. Сожжет она тогда, испепелит чью-то душу, заставит ответно полюбить, повернуться сердцем в твою сторону. Презирал Тихомир человеческую переменчивость, измену, непостоянство. После того, как узнал он о предстоящей женитьбе Авая, поколебалось его отношение к Камаку. Уж не о двух ли он лицах? Крестями поменялись, ковал ему капкан. А на кого этот капкан сготовлен? Не ждешь ли меня самого хитрая ловушка судьбы? Дом размахнувшись ставить. Каждое бревнышко отлажено, обласкано, стоило ли таскать-то?

Все перебрал, передумал Тихомир, краешком мысли когда-то питал он надежду на то, что игла, которую смастерил для Лылчих, схватит их судьбы крепким швом, не на живую, а навечно соединит их, но теперь, после похвалы Авая, стало ясно, что игла эта будет стараться не для него. Не было рядом человека, который дал бы умную укрепу его мыслям.

Выбитый из колеи, раздосадованный, Тихомир никак не мог прийти в себя, отлаженная холостяцкая жизнь оказалась в поруке, и ни к чему не желала душа. Привиделся ему однажды во сне табун крылатых голубых коней. Они манили его черт знает куда, шестел развещающихся грив отдавались в ушах, от звона их копыт замирало сердце. «Надо к Ивану Поротову наведаться насчет жеребеночка-то», — подумал он просяпаясь.

Утром Тихомир собрался в тайгу ставить ловушки, выпрошил в остроге собачью упряжку, помчался на Кирганик. Морозко пошалавал. Борода и усы курчава заиндевели. Целый полдня убил он, маскируя в снегу капканы, в конце концов остался доволен и уже собрался было выбираться на торную тропу к дому, как услышал в ельнике гвалт и лай собак.

«Кто бы это?» — насторожился Тихомир и, недолго думая, повернул упряжку на шум.

— Ты, парень, давай-ка поживей поворачивайся, — шевелил он серого кудлатого пса, вожжа упряжки. — Разомни бока-то. Залежался, прохиндей гладкий, в там в драке, может, кого жизни лишают.

Вскоре за ельником открылся небольшой пятачок, на нем возникла собачья свора, а чуть правее на Тихомира выкатились двое дерущихся охотников. Оба мертвой хваткой вцепились в черную бурю лисицы, подбитую стрелой, каждый старался перетянуть добычу к себе. Один из драчунов был пониже ростом, пошлее своего противника и уже заметно начал сдавать. Слух Тихомира неожиданно резанул женский голос:

— Отдай лисицу, вор! Это моя добыча!

«Баба — охотник? Неужто померещилось?» — удивился Тихомир. Одеты охотники одинаково — в кушанья, издала и не отличить, кто из них женщина. Тот, кто выглядел более щуплым, оказался спиной к Тихомиру, второй же повернулся лицом — дылда дылда, с ледяной бородой и желтоватыми сосульками вместо усов...

Очевидно, надеялся он найти в Тихомире единомышленника, который наверняка по-мужски поддержит его, отсудит черную бурю в его пользу.

— Сухин сын, жадина злаякая! — выругался про себя Тихомир.

Мужик, необычайно, сопел: — Я первый выстрелил. Мозг чернотурка.

— Нет, а. Отдай, вор!

— Я тебе покажу «ворам!» Я тебе покажу! — дылда драчуна с силой рванул добычу, попытался коленкой ударить спорщика под живот. Тихомир соскочил с нарт и, недолго думая, хватил кулаком наседающего нахала под дых. Тот икнул и, удивленно выпучив крупные глаза, осел в сугроб.

— Да ты что? — очухавшись, вскрикнул он.

— А вот то. Я тебя еще не так огрелю — шапка на две сажени взвояется!

Лучница от возмущения прижала пальцы к груди, как бы ощущая боль от причиненной обиды, ей не хватало воздуха.

Колчан со стрелами и лук валялись на снегу, рядом с чернотуркой. Дылда — драчуна, крахля, с трудом поднялся, но в драку не полез.

...Заслышав голос Тихомира, лучница ахнула:

— Ой!

То была Лылчих...

У Тихомира застало глаза. Такой неожиданной была эта встреча. Радость ли ей или огорчаться? Лылчих смущенно улыбнулся, стерла пот со лба. Не зная, куда деть глаза, изнемогая, заперенная, она откинула капюшон кушанья, из-под которого тотчас же рассыпались темные волосы. Пахли они тайгой и костром.

— К чему спор? Ее чернотурка, — кивнул Тихомир на Лылчих. — Вижу — стрела знаковая. Сем ковал. Малую букавицу ставил на наконечнике, — Тихомир нагнулся, аккуратно извлек стрелу из индейской шубы лисицы, сунул под нос охотнику. — Вот она, метка-то! Видишь? А твоя каленая, браток, гулять пошла. Так-то.

Спорщик хотел что-то горячо возразить, но Тихомир посмотрел на него, сурово осек:

— Какая может быть тяжба? Иди с богом, не зарься на чужое.

Незадачливый промысловик, видя, что плетью обуха не перешибешь, пристально посмотрел на Тихомира, стараясь запомнить его лицо, стал на лыжи, сплунул и, сердито шаркая, ушел вдоль распада.

Мысленно как бы страшивая нехороший осадок, тяготивший его, Лылчих поднял влажные глаза на Тихомира, бесхитростно, с благодарностью заглянула в его душу. Он протянул руку к ее откиннутому капюшону, опустил его.

— Простудился.

Потом наклонился к девушке. Глаза его оказались в такой пугающей близости к лицу Лылчих, что она сумела различить густые его ресницы, и ей почудилось, что этими теплыми ресницами он мягко прикоснулся к ее смуглому замершему лицу. Тихомир облегченно вздохнул. А она заплакала. Было видно, что Лылчих хотела сдержаться, да не могла. Тихомир растерялся. Детские и женские слезы для него — измыва души. Всего переживал, пережил, а вот слез не мог выносить. Он подсел рядом, положил руку на ее плечо, не говорил ничего, а только чуть-чуть поводил рукой, и, наверно, от этого искреннего, успокаивающего движения, от того тепла, которое источала его рука, плечи девушки перестали дрожать. Лылчих утихла, только время от времени всхлипывала.

— Ну... Чего ты? — Тихомир не узнал своего голоса.

— Не подумай, что я испугалась варнака, — проговорила она. — Я задую его чаутом!

— Иди в тайгу не женское дело. Будто отец не мог сам?

— Я уже третий год хожу на охоту.

— Замуж тебе пора. Пусть муж иди добыть огневку и чернотурку.

Лылчих ничего не ответила, лишь пристально, не отводя взгляда, посмотрела в глаза Тихомира. Он вслушивался в ее голос и пытался, да не мог вспомнить, чем, каким звуком этот небогатый голос когда-то прожег его душу.

— Ты видела Авая? — вдруг спросил он.

Она вздрогнула от неожиданности, взгляд ее стал зыбким, убегающим.

— Да, да, видела! — скорей не сказала, а выкрикнула. — Авая увезет меня. На самой быстрой упряжке увезет! Он не турус, он смелий!

Была она в эту минуту броско хороша от лихорадочного блеска в темных, до черноты глазах и, быть может, еще от запала, от страсти, с какими выговаривала слова.

— А ты бы за меня пошла, Лылчих? — спросил Тихомир переключенным голосом.

Она удивленно вскинула на него глаза, улыбнулась с ободряющим детским простодушием...

— Что смеешься?

— Отец говорил мне, хорошо бы за тебя, а ты не посылалась. Ты не смеишь. Я ждала, — Лылчих вздохнула. — Теперь Авай... Слово дала...

Взгляд Тихомира, живший до этого надеждой, сразу угас.

— Почему ходишь в равной кушанке? — спросила она. — Смотри, какая прореха, — и увидев у него под мышкой распоротый шов, с детским любопытством засунула в прореху маленькую руку.

Он горько усмехнулся. В душе его тоже была прореха, и он молчал о ней. К чему винить судьбу: обхаживал девуку, а не посылалась. Наверно, видела она в тебе не жениха, а просто хорошего человека, друга семьи. Не забывай — тебе уже под сорок...

— Турус ты мой, турус, — со смешинкой во взгляде похлывала она Тихомира по плечу...